

Jean-Claude Grumberg

*Jacqueline*  
*Jacqueline*

*Это книга, чтобы говорить в темноте, в тишине,  
словами мертвых, слишком быстро улетающими.*



## *Сегодня ночью*

Ты опять пришла сегодня ночью, родная, пришла, не предупредив. Я шел по улице, один, усталый, нерешительный и, в сущности, старый, почему бы этого не сказать? Старый? Когда я сижу и разговариваю, когда несу, скажем так, чушь, если только собеседник или собеседники достаточно снисходительны, чтобы над этой чушью посмеяться, я совсем не чувствую себя старым. Печальным, да, но не старым, нет. Когда же я один, когда иду, сталкиваясь с прохожими, отскакивая от самокатов, ремонтных работ, велосипедов, скейтов, я вдруг чувствую себя таким старым, таким одиноким... Ну вот, и сегодня ночью, на этой незнакомой улице, похожей на улочки в старых провинциальных городках или пешеходные в городах Италии, я иду и вдруг чувствую словно хлопок по спине, легкий, дружеский, даже чуть шаловливый. Я оборачиваюсь и, конечно, никого не вижу. Правым глазом я не вижу никого вообще. А поворачиваюсь всегда правым профилем, так что никогда никого не вижу. Иду себе дальше. Снова хлопок, по сильнее. На этот раз я поворачиваю голову налево

и тут здоровым глазом вижу тебя. О радость! О счастье! Вот она ты, передо мной. Я даже могу — если бы решиться, если захотеть — тебя коснуться. Ты улыбаешься, ты улыбаешься мне, лукаво, ласково, радуясь, что застигла меня врасплох. Для тебя все кажется в порядке вещей. А для меня — будто я заново родился.

На тебе то самое пальто, я так любил гладить и мять его узорчатый шелк, то пальто со скромной отделкой, подчеркивающей воротник и заканчивающейся галстучком. То пальто, застегнутое на столько перламутровых пуговиц, что мои лихорадочные руки не могли расстегнуть их достаточно быстро, и тогда тебе приходилось закончить дело за меня, чтобы открыть мне доступ к твоей груди, а потом и ко всему твоему телу. Я снова чувствую ладонями тепло твоей груди, жар твоего тела, вижу вновь простую красоту этого пальто твоих двадцати пяти лет, под которое ныряли мои руки, прежде чем мое тело соединилось с твоим. Все подъезды и подворотни были нашими, и я говорил тебе — помнишь? — что хотел бы иметь тысячу, даже сто тысяч рук, чтобы ласкать тебя всю сразу и одновременно. Кажется, я снова сказал тебе это в одну из наших последних ночей, шестьдесят лет спустя, да, тысячу рук, чтобы ласкать тебя, всю сразу, всегда, всегда.

Но я не касаюсь тебя, я боюсь, что от малейшего моего движения ты исчезнешь. Я только смотрю на тебя, пожираю тебя глазами, нет, прости, пожираю тебя своим единственным зрячим глазом. Когда ты носила это пальто, у меня еще были два глаза за безобразными очками, делавшими меня, по сло-

вам детей, похожим на жабеныша. Ты любила этого смешного жабеныша, как и сегодня любишь его, постаревшего жабеныша, который в немом восторге созерцает тебя. Спасибо, тысячу раз спасибо, что пришла к нему, покинув на время свои райские кущи, что хлопнула по спине на этой пешеходной улице в невесть каком городе, собственно, нигде.

Прохожие, должно быть, смотрят на нас, на тебя, такую молодую, красивую, чувственную и так хорошо одетую в этом пальто из шелка-сырца, на меня, такого старого, такого неудобоваримого. Это похоже на резюме нашей жизни вдвоем, родная. Я стою, застыв, а ты улыбаешься. Улыбаешься мне той самой улыбкой между любовью и дружбой. Ты, быть может, чего-то ждешь от меня? Знака, слова, поцелуя? Или чтобы мои руки снова нырнули под твоё пальто? Чтобы я нашел под ним твои груди? Нет, я предпочитаю пожирать тебя глазами. Я хочу запечатлеть на моей здоровой сетчатке каждую деталь твоего существа, потому что знаю, чувствую, что твои визиты будут все реже и реже.

Но все же, все же одна деталь огорчает меня, тревожит. Профиль, которым ты ко мне повернулась, гладкий и сияющий, кажется мне таким же молодым, как в ту пору, когда ты действительно носила это шелковое пальто, но другой профиль тревожит меня. Текстура твоей кожи местами будто облупилась, как со стены с возрастом, когда от старости осыпается краска и из-под нее виден гипс. Да, это меня слегка тревожит. Но я еще так рад твоему хлопку по спине, что забываю эти облупленные места. Я еще сполна переживаю восторг твоего возвращения. Заговорить

с тобой? Распросить? Хорошо ли там, где ты сейчас? Нет, нет, лучше не говорить ничего. Не пытаюсь узнать. Просто радоваться, что снова вижу тебя, просто чувствовать эту безмерную радость твоего возвращения.

Я открываю глаз, когда слезы уже нестерпимо щиплют оба, и кракелюры размывают твое лицо. Я все еще пытаюсь удержать наслаждение от этих двух хлопков по спине. Я здесь, в постели под одеялом, и по-прежнему вижу тебя в твоём шелковом пальто. Лежу еще немного, потом встаю. Свинцовая тяжесть навалилась на меня. Я снова говорю тебе спасибо. Тысячу раз спасибо, десять тысяч раз и еще больше, родная, за твой визит, за то, что и ты в своём раю меня не забываешь, думаешь обо мне, как я думаю о тебе.

Ну вот, я встал и счастлив, что вновь увидел вас, тебя и то прекрасное пальто твоих двадцати пяти лет, которое мы оба называли «мое любимое пальто». Я встал, и меня осаждают все эти бредовые дела, и надо их уладить. Мало того, что теряешь самого дорогого тебе человека, лучшую часть тебя самого, так еще вдобавок наваливается вся эта куча дел, которыми не занимался прежде, уверенный, что жизнь не кончится, никогда не кончится для нас.

Приходи еще, родная, приходи чаще, где бы ты ни была, где бы ни был я, я тебя жду.

## *Неразлучные*

Пытаюсь представить день, предшествующий положению во гроб, выносу тела — о, этот гнусный язык утраты, — и вижу себя у табачной лавки возле нашего дома, там, где ты каждое утро пятьдесят с лишним лет покупала свой ежедневный яд.

Накануне я оставил тебя в ледяном подвале той последней больницы, одетую для последнего пути, скромную и элегантную, неизменно. «Элеганц», с еврейским акцентом, так мой дед охарактеризовал тебя, когда с удивлением увидел нас рука об руку. «Элеганц!»

Лицо, конечно, осунувшееся, но умиротворенное, почти юное. Тебя не кормили — твоя печень ничего не принимала, — и к тебе вернулось то девичье лицо, от которого я не мог оторвать взгляда, любуясь этим чудом твоей необычной, царственной красоты. Я оставил тебя одну, не зная, куда деваться. Я ушел на нетвердых ногах, осмелившись наконец кончиками пальцев дотронуться до уголка твоих ледяных губ и после этого поднести их к своим губам.



Дома, перед телевизором — нет, нет, я не плакал на кухне, уткнувшись носом в суп, и не напибался водкой-зубровкой, как мог бы ради красоты жеста, — вдруг открыв глаз, я искал тебя взглядом, уверенный, что ты сидишь рядом и смотришь, как я сплю, и ласково посмеиваешься над старой развалиной мужем, засыпающим под телевизор.

Я дотащился, придя, если можно так сказать, в себя, до нашей кровати. Утром я машинально положил левую ладонь плашмя на простыню с твоей стороны, и простыня была холодная. Наскоро умывшись и скудно позавтракав черствым хлебом и зеленым чаем, чаем без всякого вкуса, как говорила ты, — а я объяснял тебе, что люблю все безвкусное, чтобы лучше оценить твой вкус, который предпочитаю всему, — я наконец вхожу в табачную лавку, чтобы купить утренние газеты и билетки на метро. Продащица-азиатка — китайка или тайка, не знаю, а тебя нет со мной, чтобы мне подсказать, так что я не узнаю этого во веки веков, — сообщает мне, сколько я ей должен, и, пока я ищу мелочь, бедняжка спрашивает меня, как дела. Бросая деньги на стойку, я слышу свой крик, крик безумца, слышу каждую букву: «Моя жена умерла!»

И тут эта дальневосточная продавщица закатывается смехом. Полагаю, что тон моего голоса, несуразность вопля, ярость, да и вид моего лица, искаженного рыданиями, которые я пытаюсь подавить, показались ей шуткой. А когда внезапно информация, пройдя по ее нейронным цепочкам, достигает наконец коры головного мозга, смех обрывается рыданием. Она закрывает лицо растопыренными

по-японски ладонями, на манер Куросавы. Она плачет, плачет, пряча пристыженные глаза и вздрагивая плечами. А я ухожу, оставив ее одну в слезах за стойкой. Я покидаю табачную лавку, ухожу, как уходят вершители правосудия в вестерне, хлопая дверями салуна, я горд, что прикончил сообщника убийства любимой жены. Я убираю кольт в кобуру, вскакиваю на своего резвого и послушного рыжего жеребца с чувством выполненного долга, я — Берт Ланкастер. Ты помнишь, родная? Чтобы обольстить тебя, я, сверкая всеми зубами, спрашивал: «Кого я тебе напоминаю?» Ты неизменно отвечала: «Петера Лорре в “М”<sup>1</sup>». И, скажу тебе честно, твой ответ льстил мне. И все же, все же я был очень похож на Берта Ланкастера, а ты этого не видела. Никто этого не видел. Не видел даже мой скакун.

Я встречал и еще встречаю соседей, соседок, продавцов, друзей, знакомых, и все удивляются, видя меня без тебя. И я должен был и еще должен просвещать их и подробно рассказывать о событии, об обстоятельствах и причинах твоего столь скорого ухода. Раньше, когда мы были молоды, очень молоды, достаточно было одеться в черное, а женщине повязаться черным платком, чтобы прохожие знали о постигшем нас несчастье. Мужчина мог повязать

<sup>1</sup> Петер Лорре (1904–1964) — известный актер. Бежал из Германии после прихода к власти нацистов и прославился в Голливуде 1930–40-х. В фильме Фрица Ланга «М» (или «М — Убийца», Германия, 1931) сыграл маньяка-педофила, которого ищет весь город. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

черный галстук, или, еще лучше, пришить кусочек черного крепа к лацкану своего пиджака, или, чтобы показать значимость утраты, носить черную повязку на левой руке, ближе к сердцу. Ты же одевалась в черное с юности. Черный был твоим цветом, и даже когда ты шила тысячи платьев с набивным рисунком, яркой и веселой расцветки, ты все равно оставалась одетой в черное. Родные даже спрашивали иной раз, кто у тебя умер.

Совсем недавно какая-то дама кинулась ко мне с распростертыми объятиями и радостно спросила: «Ну, как поживает маленькая дочка дровосека?» Я понял, что она имеет в виду «Самый дорогой товар»<sup>1</sup>, но смог ответить только: «Она умерла». После чего мне пришлось извиняться и рассказывать ей всю историю твоей медицинской одиссеи. Дама ломала руки и рвала на себе волосы: «Невероятно! Невероятно!» Прощаясь, она расцеловала меня в обе щеки. «Мои соболезнования». Но ты больше не со мной, а без тебя я никого не узнаю, так что не знаю, кто эта женщина, которой я рассказал о тебе и которая целовала меня, я даже не знаю, была ли ты с ней знакома и знаком ли с ней я сам.

Все делают круглые глаза, как быстро ты ушла. «Мы видели ее на улице, в магазине, совсем недавно. Она так молодо выглядела, была великолепна, и всегда приветлива, и в прекрасной форме. Как такое может быть?» И я вынужден снова и снова сообщать подробности: опухоль в легком, операция в июле 2018-го, удаление части левого легкого и двух-трех

<sup>1</sup> Книга Ж.-К. Грюмбера, переведена на русский в 2020 г.

маленьких узелков, которые пришлось вырезать заодно. И как ты все это поборола, как выздоравливала. Какая большая была эта опухоль, какая агрессивная, и как ты восстанавливалась, преодолевая болезнь, да, да, как ты выкарабкалась, как к тебе вернулись радость жизни, аппетит, веселье, как мы поверили в лучшее и т. д. и т. п. И как внезапно небо обрушилось. Твоя опухоль вернулась и атаковала печень. Да... да... да... Та же опухоль перебралась из легких в печень, столь же злая, столь же агрессивная. Едва был поставлен диагноз «злокачественная опухоль», как она уже так чудовищно разрослась, что было слишком поздно.

Я встречаю соседку снизу, она откуда-то приехала, в обеих руках сумки. Она спрашивает:

— Как поживает Жаклин?

— Она ушла.

— Куда ушла?

— Она умерла.

— Умерла!!!

Она роняет сумки, пошатывается, я боюсь, как бы она не рухнула наземь.

— Но как это? Она была... она была такая...

И я снова излагаю историю. Как врачи наблюдали за ее легкими, мозгом, весом, но никто не посмотрел в сторону печени. Хуже того, один из них увидел на печени пятно, но решил, что это «пара пустьков». Ей было восемьдесят два.

— Не дала бы ей ее возраста!

— Точнее восемьдесят один, скоро должно было исполниться восемьдесят два.

— Она выглядела на десять лет моложе!

Я киваю, киваю.

«Только на десять?» — ввернула бы ты с улыбкой.

— Нет, нет, она, можно сказать, не мучилась. Ну, морфий, кодеин, что там еще... Да, да, там, где она лежала, было хорошо, очень хорошо, рекомендую, прекрасный уход, лучше места не найдете, чтобы встретить конец, да, да, встретить конец. К сожалению, забронировать заранее нельзя, свободные места бывают редко, очень редко. Да, если угодно, нам повезло, да, повезло.

Всего несколько дней назад, стало быть, через четыре месяца после твоего ухода, — четыре месяца, просто не верится, четыре месяца, такие длинные, такие короткие, как будто это было вчера или много лет назад, — ну вот, через четыре месяца аптекарша, знаешь, из маленькой аптеки на улице Сены, в двух шагах от улицы Бюси, та, у которой мы почти никогда ничего не покупали, та, с которой ты любила поболтать о Сен-Жан-де-Люз, она родилась в Сен-Жан-де-Люз и часто там бывает, и вы обе любили поговорить о Сен-Жане, так вот, на днях я встретил ее на улице, и она спросила меня, почему больше не видишь тебя со мной или с Жанной. Я сказал ей все как есть.

Она уставилась на меня, вперилась, она мне не поверила. Двух недель не прошло, она видела тебя, ты проходила мимо.

— Нет, уже больше трех месяцев, как она ушла.

— Да нет же, я видела ее совсем недавно с вашей дочкой Ольгой и малышкой Жанной!

— Три месяца, нет, даже уже четыре!

— Как это может быть? Как? И я ничего не знала?

Я выкладываю медицинские подробности. Она говорит, что не может в это поверить. Потом добавляет, что в прошлые выходные как раз была в Сен-Жан-де-Люз и думала о них, о Жаклин и о Жанне. И купила им пакетик печенья из кондитерской «Адам», она отдаст его мне, чтобы я съел его с Жанной и Ольгой. Она уходит в свою крошечную аптеку и возвращается с фирменным пакетиком «Адам». Я рассыпаюсь в благодарностях. И тогда она говорит, уже сквозь слезы, эту фразу, которую мне достаточно повторить, чтобы тоже заплакать: «Она была так счастлива с вами!» Так счастлива со мной? И вот я один на улице Сены, в слезах, с пакетиком в руке, с печеньем, предназначенным тебе, родная, которым я полакомился с Ольгой и Жанной.

Как ты ухитрилась? Как тебе удавалось всю жизнь запросто заводить друзей, приобретать такое значение в глазах и сердцах людей, с которыми мы были едва знакомы? Из какого магнитного металла ты была сделана, чтобы к тебе так тянулись, даже не зная тебя?

Мужчина с собакой на улице Сены, тот, что лежит на асфальте рядом с маленькой аптекой и когда-то прозвал нас — ты помнишь? — потому что видел всегда вместе, прозвал нас неразлучными. Неразлучные. Он ни о чем не спрашивает меня теперь, когда видит одного, и я ему за это бесконечно благодарен.